



В. В. РОЗАНОВ

Ответ г. Владимиру Соловьеву*

В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского вестника»¹, я попытался установить границы так называемой внешней свободы, — в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется своими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать; требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятельность у него есть назначено.

Так изложенный, этот взгляд и есть, и может быть понят только как направленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отрицанием жизни; и в законы бытия его все, живущее какою-либо верою, утверждением так же не может проникнуть, и не должно, как он сам, разрушая все живое, не проникает в смысл особых, в нем лежащих, утверждений. И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против нее перевес, — я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Статья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Непреднамеренно, я произнес слово, которое всего нужнее было произнести, — и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия, разложения, я произ-

* См. его «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. Февраль. 1894).

нес слово: *нетерпимость*, конечно, лишь слабость моих слов, неслышность моего голоса была больна, а не самий смысл слова. Но если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности переносить его вид» *.

I

Мой противник называет это «законом жизни животной» **; он не находит слов, достаточно сильных, чтобы заклеймить его ***; и, наконец, просто отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою ****. И, между тем, этой слепотой своего негодования он именно подтверждает его как вечный исторический закон, через который мы не только не переступаем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он очевидно так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю, — и даже не признаю его смыслом *жизни*, но только косного бытия, как давление камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая без

* Именно эти выражения, тщательно выбирая из моей статьи и подчеркивая их, г. Вл. Соловьев считает особенно... неприличными? страшными? По тому или другому, но только доносит о них своей «публике»; см.: Вестник Европы. С. 912.

** Там же. С. 911.

*** «Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы наверно в том же смысле»... «Иудушка не был бы салым собою, если бы зверообразно дикую сущность своей веры или своего закона жизни излагал прямодушно от своего собственного имени, или от имени единомышленных ему зверей и диких людей. По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский (почему не готтентотский?) субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине», и. т. д. (с. 911).

**** В эпиграфе своей статьи против меня (и следовательно, как бы определяя цельный смысл моей статьи) он говорит: «Ишь ведь как пишет! Ишь как языком-то вертит! Ни одного-то ведь слова верного нет! *Все-то он лжет!..* ничего он этого не чувствует» (Там же. С. 906).

внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною принцип, без сомнения, он противополагает «закон жизни под-благодатной»: но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту минуту отрицаю принципы индифферентизма? Разве он видел в его подвигах что-нибудь кроме смелых преступлений, в добродетелях — кроме красивых пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в согласие, выбирал, что бы из *своего* соединить с чем-нибудь, что есть там, в «закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не понял *главный* смысл утверждений Спасителя; что ни терпение мертвое, ни нетерпение* Он не проповедовал, но правду внутреннюю в отличие от правды внешней, и с последнею не мирился, ей не простирая прощающей руки; мытарь — в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша, не хотевший сделать последнего? На лоне ли Авраама законники? Нет, мы о них слышали: «истинно. Истинно говорю вам, земле Содомской и Гоморрской будет отраднее в день суда, нежели им»².

* Если бы Иудушка с правдивым благочестием относился к указаниям священных текстов, а не злоупотреблял ими для своей скверной тенденции, то он, по вопросу о веротерпимости (ведь я же веротерпим) припомнил бы не Содом и Гоморру, а то Самарянское селение, где из-за религиозной розни не приняли Христа, как «идущего в Иерусалим». «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, сказал: *не знаете, какого вы духа*. Мы преднамеренно не будем разбирать этого текста, ни того, к чему он относится, ни того, на что в Апостолах указывает; но ведь заметим, что ведь слова эти сказаны Богом, Которого, разумея, и я в статье «Свобода и вера» оговорился: «не отвергаю, что, в универсальном смысле, свобода может быть, однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирующем индивидуальные свободы, с знанием верховным и абсолютным их относительного значения и окончательного смысла (Русский вестник. Янв. С. 269). Мой критик не различает Бога от человека.

II

Явившись среди нашего общества с истолкованием «учения о Логосе» *, он не замечает, как вот уже много лет при молчаливом терпении всех, он являет неслыханный пример кощунства над Евангелием, и среди народа, темного в книжном обучении, но по истине мудрого, являет еще невиданный никогда образец религиозной тупости. Этот народ и жив тем, что, изо дня в день слыша на литургии чтение Евангелия, усвоил его *дух и смысл в целом*; и, не ошибаясь, этот его *цельный смысл* применяет к жизни, им судит другого, и, прежде чем другого и строже, чем другого согласно этому смыслу, им судит себя. Г-н Вл. Соловьев взглянул на Евангелие, как боец на арсенал, из которого он мог бы извлечь себе оружие. Его писания мелькают всюду текстами, и он не чувствует, как весь смысл этих писаний, самый дух, с каким они начаты, не только не имеют уже в себе ничего евангельского, но являются совершенным его отрицанием ненавистник своей родины **, презирающий его Цер-

* «Жизненный смысл христианства; философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова». 1883.

** «Ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди или два закона. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана через Моисея народу израильскому: *что отца твоего и мать твою, да благо ти будешь и долголетен будеши на земли*. Вторую заповедь дал Христос ученикам своим: *Идяху же с Ним народи мнози: и обращся рече к ним; аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и чад, и братию, и сестер, аще же и душу свою, не может Мой быти ученик!*» (Лк. 14, 25—26).

Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключать из этой истинной любви наших ближних, семью. Однако же прямо сказано: *“аще кто не возненавидит”*. Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви; от этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть, — возненавидеть не только себя или “душу свою”, но и свою семью, и всех близких своих, и *народ свой*, — *ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение и от своею нарова*. Вот эта-то истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному — *она-то и есть то самоотречение* — не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное, которое выдумано *не мною и какими-нибудь западниками*, и возвещено *и Западу, и Востоку в Новом Завете*, — *в выражениях более резких*, нежели самоотречение» (Соловьев Вла-

ковь *¹, что, наконец, он любит? И без любви, со словами только осуждения всему **², зачем берет он слова из святых книг; как тот, прокравшийся в церковь и там пойманный, машет священными предметами, захваченными с жертвенника и престола, не для того эти предметы, святотатец; не для того Евангелие, чтобы им сокрушать, колоть, уязвлять, но чтобы исцелять, а еще ранее — исцелиться, только.

Прежде, чем выискивать в нем потребные тексты, нужно спросить себя совершенно ли усвоен дух всех их, чтобы в полной покорности этому духу, в целях, не противоположных ему, употреблять и самые тексты. Иначе ведь и разбойник, уходя из сожженной им деревни, мог бы ответить горящим, смеясь: «неизвестно, спасетесь ли еще вы, а я верно спасусь: вот текст»; и блудница, с мыслью возможности покаяния в последний час, блудила бы, бесстыдно озираясь на борющихся с собою, о которых не оставлено никакого текста. Но, поистине, покаяния им не будет дано, и, преднамеренно рассчитанное, оно не будет принято; *то* исцеляющее раскаяние уже было, совершилось, и, с тех пор как миру о нем поведано, для мира оно прошло и не повторится иначе, как в случаях такого же полного о нем неведения, как и тогда.

Г-н Влад. Соловьев со своими текстами и всем «богословием» именно имеет вид такой блудницы, которая, потрясая ими бесстыдно перед глазами всех, говорит: «еще погрешу и — спасусь, а вы погибнете». Он совершенно не задается вопросом, для любви или для злобы он трудится, ложью или истиной живет, целомудренна ли душа его, когда его язык произносит святые, всем ведомые, и лучше, чем им, всеми чтимые слова. Он говорит: «во имя закона любви *** сольемся с Западною

димир. Национальный вопрос в России. Вып. 1-й, изд. 3-е. СПб., 1891. С. 62—63). Вот уж вспомнишь: «Во грешах зачала меня мати моя».

* «...Мы самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, сами сидя на месте, и сидя на месте не падали» (Соловьев Влад. Три речи в память Достоевского. М., 1884. С. 47), так определен им смысл исторического существования Восточной Церкви, в отличие от Западной.

** См. «Национальный вопрос в России». Эта книга собственно идейного *raison d'être*³ не имеет.

*** «...Это слово соединения есть слово святое и божественное, оно одно может дать нам и истинную славу сынов Божиих: «блаженны Миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся...» «В соединении Церквей я вижу не умерщвление русской Церкви, а ее оживление,

Церковью», и не слышит, точнее делает вид, что не слышит, как говорят: «во имя истины, во имя единства Церкви, во имя самой любви не могу соединиться с тем, что истину нарушило *», единство разорвало **, любовь презрело ***, и в себе, в своих недрах, заменило ее ненавистью и ложью» ****. С тем

небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной (какие все идеалы, и ни слова об истине). Для того чтобы это совершилось, необходимо самоотречение не в грубом физическом смысле, не самоубийство, а самоотречение в смысле чисто нравственном, т. е. приложение к делу лучших свойств русской народности — истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости, свободы от всякой исключительности и прежде всего — духовного смирения (курсив в последнем слове г. С^{оловьев}ва)... О духовном смирении русского народа я не только слыхал, но и поверил ему, и не только поверил, но попираюсь на него в своих взглядах на церковный вопрос... Я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять совета, с которым ко мне обращаются: не отделять себя от народа, воссоединиться с русским народным духом. Я не знаю, что под этим разумеется, про какой дух говорится. Тот ли это дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, дух, который всегда внушил им искать не своего, а хорошее» (Там же. С. 72—73).

* Внешнее оправдание, центрально отвергнутое Христом, центрально же принято католичеством в так называемом учении о спасении через «добрые дела» (т. е. факты, поступки, творимые без живого участия в них совести).

** Католицизм исторически обозначает свое отделение, сектантство: ибо от Церкви, оставшейся после разделения, в том же содержании, как и до него, очевидно именно он отделился, секторизировался, чтобы это содержание видоизменить, и уже начиная его видоизменять в самый момент отделения.

*** Не отвергая возможности и нужды самоулучшения и даже саморазвития, самоизменения, Церковь, однако, к этому трудному и великому шагу приступает не иначе, как в бережной любви, зная, что Спасителем она указана, как охрана человека против внедрения злого духа («где два или три соберутся во имя Мое — Я посреди их»⁴). Видоизменившись вне единения с восточными Церквами, католичество вышло из их согласия, и тем разорвало любовь, вне которой Церковь и невозможна. Его историческая сущность в том вся и выражается, что оно есть мятеж против Церкви, собой обусловивший возможность и всех последующих от нее отпадений (протестантизм XVI-го в, деизм XVII-го, атеизм XVIII-го, и т. д.).

**** Инквизиция и иезуитский орден; принципы последнего мы можем принять за принципы вообще католичества, по аксиоме: что в части есть — есть и в целом.

непониманием, глухим и косным, с каким смерть, разрушение относится к живущему, он различает только одно: что *два* слившись будут *одно*, что слияние — это *близость*, и, вероятно, любовь; но что будет одно, не ценою ли потемнения истины* только может произойти слияние, и не принятием ли в себя злобы и лжи механическое соединение, к этому он слеп, этого он не видит. Мертвый Человек, и задавшийся самым великим, самым святым, самым жизненным, что в неисповедимых путях Промысла, мы ждем, совершится: но тогда, когда Запад утомится в своей лжи, устанет в злобе и приползет к ногам им отвергнутого, из презренного, им столько мученного** Востока.

III

«Примирение»... он говорит, и кому же? Церкви! и о чем? о том, что верно не по маловажным причинам вот уже тысячеле-

* Выше мы уже отметили, что вопрос об истине как бы исчезает, туманится перед глазами г. Вл. Соловьева, и он манится исключительно внешними ожиданиями: «возвеличения власти духовенства», «украшения церковной жизни», «оживления и одухотворения — гражданской» и т. п.

** Самое любопытное в истории отношений Восточной и Западной Церквей есть то, что первая никогда собственно не боролась, не умела этого (и, мы глубоко убеждены, не должна уметь — не для этого она на земле). Так что требование открыть свободу западной пропаганды, например, у нас, есть собственное требование повалиться перед наступающим врагом. Православная Церковь не хочет враждовать и спорить наконец — считает себя неспособной к этому (мы думаем — не имеет для этого исторических и мистических в себе задатков); по крайней мере, способов защиты, ведь не могут же оспаривать у нее наступающие: она и избирает себе соответственный — *не слушание*. Она просто хочет молиться, и, конечно, вправе пожелать, чтобы ей в этом не мешали, а внешние ее стражи вправе не допускать «богословов», которые хотели бы войти в храм, и, уставив его кафедрами, начать словопрения. Не время и не место у нас и теперь для этого: дьякон читает ектенью, народ «миром» молится, скоро запоют Херувимскую песнь: к чему споры, и для чего, о чем?.. Одно желание, к одному усилие есть у верующей в себя Церкви: чтобы сгоряча была ее молитва, и чтобы там, за стенами храма, она как бы продолжалась, не оставала, теплилась, трансформируясь в каждом месте и времени, сообразно вещам, к которым применяется, но не в смысле и духе своем, а лишь в образе применения. Полнота и живость церковной жизни, вот что остается для нее одно при вере уже в истинность.

тие непримирено. Малодушный, и слепой, и лживый человек: пусть он в своем маленьком раздражении, в ссоре, вчера начавшейся, помирится со мною. Пусть напишет в ответ на статью эту — проникнутую миром, спокойствием, любовью и прощением к тому, что в ней ему непонятно. Но я уверен, и умирая он не простит мне ее, и я не простил бы ему, если б в самом деле был к нему исполнен злобы, — но не к нему, в моих глазах только жалкому слепцу, я исполнен презрения, однако есть вещи, которых и я, умирая, не прощу и не хочу простить — это равнодушия к истине, которого выражением служит хотя бы орган, в котором он участвует. Итак, если оба мы с некоторыми вещами непримирены, и примирение считали бы отступничеством от чего-то лучшего, нежели только мир; не ясно ли, что есть это лучшее и для великих исторических организмов, как Церковь, которые, тысячелетие двигаясь бок о бок, не сливаются, не единятся — не потому вовсе, что не знают, что «единение хорошо», а потому, что знают, что есть его лучшее и это лучшее им вверено, и они его должны донести до конца, не растеряв.

IV

В книге «Национальный вопрос в России» им это примирение пропагандируется; с неутолимым раздражением, которое было бы отвратительно, если бы даже и не было так мелочно, он набрасывается на все партии, на память всех замечательных людей, в которых этому примирению предполагает видеть отпор. Сам он, ему кажется, является в нашей истории четвертым после Гостомысла, Владимира Св<ятого> и Петра*: первый

* «...Наша история представляет два великих, истинно патриотических подвига; призвание варягов и реформу Петра Великого. Я не говорю о принятии христианства при Владимире Св<ятом>, потому что вижу в этом событии не столько подвиг национального духа, сколько прямое действие благодати и Промысла Божия. Однако и здесь заслуживает замечания, что Владимир и его дружины не боялись принять новую веру от своих национальных врагов, с которыми они были в открытой войне...»

Склонность к розни и междуусобиям, неспособность к единству, порядку и организации были всегда отличительным свойством славянского племени. Родоначальники нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, что в нем нет добра, и решились ему противодействовать.

вый призвал Русь отречься от своего хаоса и призвать правителей из-за моря, второй — отрекся от язычества, чтобы покорить народ свой чужеземной вере, третий — чтобы покорить его чужеземным формам быта, сложения.

Не видя у себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. По-видимому, эти люди, призывая чужую власть, отрекались от своей родной земли, — на самом деле они создавали Россию, начинали русскую историю. Великое слово народного самосознания и самоотречения: земля наша etc... было творческим словом, впервые проявившим историческую силу русского народа и создавшим русское государство... Нас постигло бы без этого» и т. д., и т. д., «но... мы были спасены от гибели национальным самоотречением» (С. 83—34).

«Россия XVI века... нуждалась во внешней цивилизации и в духовном просвещении. И вот, как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением своего, так теперь» и т. д. «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм бесстрашная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народного самолюбия» и т. д., но «Петр верил в Россию и не боялся за нее. Он верил, что европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности и только даст ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творчества, могло явиться только благодаря Петровской реформе; без этой реформы» и т. д., и т. д.; в заключение: «реформа Петра Великого была в высшей степени оригинальна (его курс<ив>) именно этим смелым отречением... этим благородным решением... порвать с прошедшим народа ради народной будущности» (С. 36—37).

«Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в признании варягов создало русское государство; не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные средства, необходимые для совершения его всемирно-исторической задачи. И неужели, приступая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути самоотречения... ведь плоды нашего национализма только в церковном расколе с русским Иисусом и осмиконечным крестом (какой взгляд на раскол, после всего, что о нем написано!). А плоды нашего национального самоотречения (в способности к которому и заключается наша истинная самобытность) — эти плоды налицо: во-первых, наша государственная сила и, во-вторых, наше просвещение...» Но «окончательно и безусловно ценного ни там ни здесь еще нет: и государственность, и мирское просвещение суть только средства. Мы верим, что Россия имеет в мире религиозную задачу. В этом ее настоящем деле, к ко-

И, наконец, на наших глазах, и опять Владимир, но только еще не канонизированный, зовет ее совершить новый несравненно высший акт отречения — от веры своей истинной, от древней Церкви*. Его роль ему кажется более высокой, чем трех его предшественников **: он вспоминает великого еврейского законодателя, — и слова, которыми тот заключил свой закон, страшная клятва, которою он заклял народ до конца сохранять этому закону верность, он повторяет, не в конце только, но перед изложением своей доктрины:

«...По своему историческому положению и по национально-му характеру и миросозерцанию Россия должна сделать почин в этой новой положительной реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность — мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной

торому она подготовлялась и развитием своей государственности, и развитием своего сознания, и если для этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный подвиг национального самоотречения, тем более он нужен для нашего окончательного духовного дела» (С. 39—40: Соловьев Влад. Национальный вопрос в России. СПб., 1891).

* «Восстановление единства и согласия христианской Церкви, положительная духовная реформа — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, во гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега, или нужда в образовании и гражданской реформе во времена Петра Великого... Призвание варягов дало нам государственную дружину. Реформа Петра Великого, выделившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей в области мирского просвещения. Та великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим (воссоединение Церквей), должна дать нам церковную дружину... духовных учителей и руководителей церковной жизни, истинных показателей пути, которых желает, которых ищет наш народ... И как те два первых дела — введение государственного порядка и введение образованности — могли совершиться только через отречение... так и теперь для духовного обновления России необходимо отречение...» (Там же. С. 41—43).

** «Мы воспользовались чужими силами в области государственной (т. е. при Рюрике) и гражданской (при Петре Великом) культуры. Но для христианского народа внешняя мирская культура может дать только цвет, а не плод его жизни; этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей — духовной или религиозной культурой, в которой мы остаемся доселе совершенно бесплодны» (Там же. С. 42; курсивы принадлежат г. Вл. Соловьеву) и должны быть оплодотворены через воздействие на нас католической Церкви.

жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы знаем *наверное**: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется, если она не откажется... если она не возжелает и т. д.

«*Призываю во свидетели небо и землю; жизнь и смерть положил я ныне пред лицом вашим — благословение и проклятие; избери же жизнь, да живешь ты и семя твое*» Второз. 30, 19** (Предисловие к «Национ^{альному}» вопросу в России». С. IX).

Совсем Моисей... недостает только Синая; недостает сияния около головы, или, быть может, оно чудится? И чудится, кажется, дивящийся на пророка своего народ, благоговейно слушающий его слова, и не теперь — завтра имеющий принять их как высший руководительный принцип в выборе для себя исторических путей.

Все остальное — хлопоты «пророка» около «своего народа». Мы делаемся свидетелями, как во всеуслышание утверждается***, что инквизиция зародилась на Востоке, и подразумевается, что это он, мрачный, гнусный, передал это адское свое изобретение католическому Западу, который без него, быть может, пребыл бы кроток и милосерд к заблуждающимся в вере. Университеты и академии изумлены открытием, печатаются древние тексты; филологи толкуют название учреждения; требуются справки в *Thesaurus linguae graecae*; и наконец, все удостоверяются, что что-то в этом роде если и не было, то почти было, или хотело, или могло быть, если не в этом, то в том веке, но действительно на Востоке, среди Православной Церкви, которая в споре все-таки пошатнулась немногого в предполагавшейся всегда чистоте ее от этого гнусного учреждения Католической Церкви. Наша местная Церковь как печали всех истинных ее сынов, вот уже два века лишена внешней свободы жизни, — конечно, временно, конечно, к испытанию только нашего терпения, но тот же «пророк» отыскивает в «Камне

* Курсивы принадлежат Вл. Соловьеву.

** Этими словами оканчивается пятая и последняя между книгами Моисеевыми, получившая название свое от изложенных в ней постановлений, обнявших жизнь еврейского народа во всех подробностях религиозного, гражданского, экономического быта и действительно способных стать законом жизни.

*** В одном из заседаний «Московского психологического общества» за прошлый год, вызвавших столь бурную и памятную полемику в нашей литературе.

веры» Стефана Яворского несколько строк, и умолчав, что они навеяны были с Запада и чуть ли не прямо взяты из какого-нибудь католического богослова, говорит, что они оправдывают лишение Церкви прежней свободы и ограничение ее во внешнем устройении и жизни светскою властью*. Умалчивается о всем колоссальном, что режет глаза, как иезуитский орден, как кровожадный парад при сожжении еретиков; умалчивается история и поднимается вихрь слов**, слов, которые ведь

* «...И что же, едва успел Стефан Яворский в своем богословском трактате с такою решительностью присвоить Церкви два меча (т. е. силы нравственной и власти гражданской), как уже должен был отдать их оба в руки *мирского начальника*. Из блюстителей праздного престола патриаршего он волей-неволей делается бесправным председателем учрежденной Петром Великим духовной коллегии, в которой наше церковное правительство явилось как отрасль государственного управления под верховною властью государя — *крайнего судии сей коллегии*, и под непосредственным начальством особенного государственного сановника — *из офицерского доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление синодского дела знать*. Беспристрастный и внимательный взгляд на исторические обстоятельства, предшествовавшие учреждению Синода и сопровождавшие его, не только удержит нас от несправедливых укоров великой тени преобразователя, но и заставит нас признать в сканзанном учреждении одно из доказательств той пророческой мудрости, которая никогда не изменяла Петру Великому в важных случаях. Упразднение патриаршества и установление Синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положительно полезным для будущего России. Оно было необходимо, потому что наш иерархический абсолютизм, искусственно возбужденный юго-западными влияниями (отчего не сказать прямо: «католическими»), обнаружил вполне ясно свою несостоятельность», и т. д. См.: Национальный вопрос в России. Ч. II. С. 20.

** Вот пример, как г. Вл. Соловьев обходит ему неприятную истину: приведя слова мои (из ст^{ат}и «Свобода и вера»: «не более, чем в протестантизме, есть веры и в католичестве: *иезуит*, во имя Христа хватающий протестантского младенца и, читая молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родителям и не стал в ряды колеблющих камень Петра — это исступление, неужели вера», — он, не отрицая поразительного факта, практиковавшегося в знаменитом ордене, оговаривает: «обваривать младенцев кипятком не есть *правило* (как будто это я утверждал, и, между тем, отрицательная частица не уже внедряется в ум читателя и затемняет, не отвергая, факт католической Церкви (как будто о ней всей я говорил). Это настолько напоминает правило, содержащееся в курсах нравственного богословия иезуитов: «если ты убил человека и на суде тебя спрашивают об этом под присягою, ты можешь сказать *нет, не убивал*, добавляя мысль

могут же, наконец, заслонить от современников, столь забывчивых, столь легкомысленных, действительность, и, как бы загипнотизировать их, в самом деле заставить думать, что и пророк, и Синай, и скрижали — вот они: ему остается встать и пойти.

V

И никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не только обтянутых лайкою ног, которым, конечно, не идти в пустыню; не показало немощных рук; ни червя зависти, гнева, мелочной злобы, который точит сердце; ни, наконец, ума, который так мало, так слепо, так жалко понял даже то, что нужно было бы ему говорить, если бы в самом деле он был тот, кем кажется себе. Бедный танцор из кордебалета, пытающийся взойти на пылающий огнем Синай; жалкий тапёр на разбитых клавишиах, думающий удивить мир мелодией игры своей; человек тысячи крошечных способностей без всякой черты в себе гения; слепец, ушедший в букву страницы, не разумеющий смысла читаемых книг*, книг собственных, нако-

ленно: *до его рождения* (*reservatio mentalis* — умственная оговорка). «И Бог, видящий тайное», по мнению иезуитов, не предаст убийцу «явному» суду.

* Вся критика его (см. «Национальный вопрос в России») есть собственно не критика взгляда, теории в их центре или основании, но — какой-нибудь мелочной, побочной черты, вырванной страницы, неудачного выражения, неверно приведенного факта, и в этих узких границах критика остроумная, живая или но крайней мере язвительная. Так разбирает он Киреевского, Хомякова, Данилевского, и незнакомый с их трудами, читая эту критику, не мог бы составить даже приблизительного понятия о том, что собственно критикуется, в чем состоит опровергаемый взгляд. Так по вопросу о культурно-исторических типах собственно является один вопрос; как же, если типы эти непроницаемы, отнести к некоторым абсолютным идеям (как христианство, или в другой сфере — геометрия) — отвергнуть ли их, сохранив эту непроницаемость, или сохранить эти идеи и тогда отвергнуть их непроницаемость? И, далее, в каком объеме принимать эти идеи, и след^{<овательно>} суживать содержимость самых типов? Между тем он заговорил о этнографической группировке народов у Данилевского и т. п. вещах, не относящихся к делу. В возражении на статью мою «Свобода и вера» он, между строками, и без нужды для себя, соглашается с двумя ее исходными точками («положим так: поскольку дело идет о свободе

нед^{*}, и он — в роли вождя народа, с бесстыдными словами какими-то заклинаниями, — было ли в истории, не нашей, но чьей-нибудь, явление столь жалкое, смешное, и, наконец, унизительное, унизительное не для него уже, но для человеческого достоинства.

Никем не было, кажется, замечено, что коренная особенность публициста-богослова-философа-поэта и т. д., и т. д. есть именно неспособность: неспособность стать чем-нибудь и даже, просто, стоять на собственных ногах; вот почему он то падает на плечи славянофилов, пока они есть; умирают их видные столпы — он падает на плечи западников; есть «Русь» — он в «Руси»⁵; нет «Руси» — он в «Вестнике Европы», не по недоразумению, но с истинным влечением, как дерево без корня, котороеечно к кому-нибудь клонится. С Достоевским он едет в Оптину пустынь^{**}; некому везти его в Оптину — он слушает, не зовет ли кто в Загреб (кажется)⁶, в Париж, куда-нибудь. Ему нужно, чтобы его держали, он решительно не стоит. Он думал заняться философией, но для этого нужно по крайней мере уметь сидеть за письменным столом, а между тем ноги его куда-то неудержимо бегут; он думал — бегут на Синай, но вот подвернулся публицист, которого нужно «казнить»^{***}, и он,

исповедания и проповедания, *само собою понятно*, что кому *нечего исповедовать* и проповедовать, тот и *в свободе* для этого *не нуждается* (Вестник Европы. Февр. С. 910); «что всякий человек *должен защищать* и естественно защищает *истину*, в которую *верит* — это *само собою разумеется*, об этом *нет вопроса и спора*» (Там же. С. 916)), не замечая, что остальное все уже *implicite* здесь содержится, и против него бесполезно спорить.

* Замечательно, что книги его не только не отвечают цели своей, но иногда ей противодействуют; так, ища соединения Церквей, конечно, нужно было примирять разделенных, объяснять их взаимные недостатки, указывать общие им черты, и ни в каком случае пристрастием и односторонностью критики не раздражать которой-нибудь одной стороны. Между тем, в «Национальном вопросе» и утонченной изощренностью выискав все, в чем можно было оскорбить Восток, Россию, православие, он не обмолвился ни одним упреком по отношению к Западу, католичеству, и вот почему, насколько его деятельность влиятельна, насколько его книги читаются, мира в сердцах стало менее, чем до его писаний, и самое соединение Церквей — далее от возможности теперь, чем когда-нибудь.

** В 1879 г.; см. «Биография и письма Ф. М. Достоевского», в «Сочинениях», изд. 1882 г.

*** См. исполненные игривого остроумия статьи о Щеглове (в «Вестнике Европы»), Лесевиче (в «Вопросах философии и психологии»⁷), были, кажется, еще другие.

обмакнув перо в чернильницу, пишет остроумный памфлет, которому завидует «Стрекоза». Синай, однако, не забыт, Синай тревожит его сердце: и вот, не выпуская пера памфлетиста, он им пишет... что? памфлет? мессианские прозрения? Но что-то во всяком случае любопытное * для прочтения, и пресса шумит, книгопродащи хватают его книги, а он, бедный, думает, что это все... Бедный слепорожденный, который болезненный блеск в своем глазе принял за свет солнца, о котором ему говорят, он слышит, и хотел бы видеть его; но этого ему не суждено...

VI

Пытаясь выразить в каком-нибудь термине сущность вещей, Аристотель создал сложное выражение для этого, в точных терминах своих непереводимое: *τὸ τὸ ἥν εἴναι*⁸. Это — идея вещи, ее вечное, неразрушающееся понятие, как мы догадываемся; но, по более точному переводу, просто — «то, что вещь делает именно тем, что она есть»: и действительно, это есть самое общее понятие о сущности. Есть, однако, вещи как бы недоделанные, не сформировавшиеся еще, неясные в себе, и к ним не применимо это выражение: есть и люди, тенью проходящие в истории, к которым приложить этот термин мы не могли бы. Г-н Соловьев есть человек без *τὸ τὸ ἥν εἴναι* — вот глубочайшее его определение и вместе объяснение всего его характера и, наконец, самой судьбы, насколько она совершилась уже. Нет центра в нем, неудержимо формирующего внешние черты его образа, деятельности **, нет координирующего центра, который управлял бы движениями его тела; и вот почему ловкость рук его удивительна, быстрота ног внушает страх, все движется, и, однако, так, что, сторонясь, мы спрашиваем: не паралитик ли? Все действия его не отвечают целям, ради которых он ясно совершает их; устройство способностей его — задачам, за

* «Национальный вопрос в России» — книга, о которой читатель может составить представление по обширным сделанным из нее выдержкам.

** Читатель может сказать, что религиозность есть все-таки господствующая черта всех его трудов; но мы ограничим это, заметив, что к религиозному *он* постоянно тяготеет не в ином смысле, чем как и дерево без корня падает всегда к земле. Но это — вопрос сложный, который можно было бы разъяснить, лишь сделав из него новые обширные выдержки.

которые он берется*; все — расстроено, хотя и шумно. Деятельно, для скучающих — ярко, значительно, во всяком случае любопытно. В нем есть ουσία, есть ἀρχὴ τῆς κινησέως, пытается найти τὸ τέλος, но нет τὸ τὸ ἦν εἴναι⁹, и — вот он весь, со всеми своими талантами и всею немощью.

VII

Конечно, немощный в главном, при тысяче способностей к подробностям, он прежде всего ошибся в определении смысла времени, в которое по воле судьбы брошен рождением и должен бы потонуть в его забвении, но множеством второстепенных своих даров поднялся над этим забвением. Куда плыть. Что делать, когда руки машут?.. И вот, среди множества точек зрения на родную историю, он понял только одну, что в ней не однажды совершились отречения, и повторил меланхолично: «отречемся еще»; в Евангелии прочел: «возлюби ближнего» и, протягивая перед собой руку, безжизненно указал: «возлюби того, кто рядом с тобой»; и, наконец, слыша, как отовсюду ломятся стены родного здания, стал призывать: «разломить, сокрушить». Он думал, он в этом понял историю. И в самом деле, ведь те факты указал он, которые были; за святыми словами последовал; и, наконец, ответил какому-то неясному движению истории.

Ответил, повторил, указал, ничего не связав живою мыслью. Ему не понятно, почему бы с Евангелием нельзя было обращаться как с геометрией, откуда какое бы положение мы ни взяли, можно быть уверенным, что не найдется никакого, с которым бы оно стало в противоречие. Великий экзегет, не без

* Недостаток созерцательности, чрезмерное преобладание волевого начала над рефлексией делает его всего менее философом; а раздраженное, мелочное сердце и способность к сарказму мешает быть богословом. По характеру ума он есть собственно казуист, по влечению — литератор; слово занимает его всегда более, чем дело, и даже в собственных средствах оно чрезмерно преобладает над мыслью. И между тем, некоторая благородная тоска влечет его к великим задачам, его воображение рисует образы, из этой тоски вытекающие, но в высшей степени не отвечающие его средствам. Едва ли, когда весь его путь будет пройден, о нем не придется сказать: вот человек, который испортил так много прекрасных начинаний, и время бы уже приступать к ним, но кто же теперь, после него, за них возьмется?

«черт оригеновского мышления» *, не заметил, что ведь геометрия есть ряд утверждений, к одному относящихся, в одной тесной сфере движущихся, в одну сторону направленных; и противоречие здесь было бы отрицанием, саморазрушением. Но этого саморазрушения нет в противоречиях живого, и особенно когда это живое есть семя, из которого подымется произрастание веков и веков. Их все, в необъятной их судьбе, в падениях и возвышениях, в грехе и просветлении, нужно было укрепить — прощением в одном случае, угрозою в другом, милосердием как и гневом. Какое же слово, засунув слепо руку, мы вытащим, чтобы на нем основать судьбу человека, искусственно построив ее на этом одном слове бескровною мыслью? «Блаженны нищие», но разве *Иов* уже не блажен? не блажен *Давид*? «Блаженны кроткие», но что же, разве уже прокляты *Илия* и *Елисей*? «Блаженны творящие мир», — но с кем, и с фарисеями? Для живых Евангелие было принесено, а не для мертвых: для живого руководства его цельным смыслом, в скорби и в радости, в возвышении и падении, всегда, когда сердце открыто, для всякого, кто умеет это сердце открыть. У кого же оно глухо, замкнуто, что может костлявая его рука вытащить оттуда, и, на вытащенном построить, успокоиться, что построенное вечно по данному обетованию и праведно по основанию. Нет, оно может быть и преступно, может стать временно, как это мы видели в XIV и XV веках, и видим плоды этого в XVIII и XIX-м. Видим в Новозаветной истории повторение Ветхозаветной, где ведь так же слова святого закона были соблюдены, и только потерян его дух, смысл, который не в части обитает, не в строке, не в тексте, но в том, что из всех строк, со всех страниц, из образов, поучений, угроз, обетований веет жизнью вечною, «хлебом животным...»

VIII

«Родная история полна отрицания...» о, мертвые слова, о, недостаток живого смысла: но не полна ли она также и утверждения, и из живого, что видела история, было ли что-нибудь,

* «Тщетно было бы искать приемов его мышления в современной логике; чтобы найти их, недостаточно даже обратиться от логики Милля к логике Гегеля: надо вернуться для этого к логике Оригена Александрийского» (Милюков П. Разложение славянофильства // Вопросы философии и психологии. 1893. Май. С. 87).

что говорило только бедное «да, да», и если оно мешало «да» с «нет», разве можно заключать, что оно вечно должно повторять «нет». Не вся ли Русь в Церкви? Вне ее стен, что же останется:

«Гром победы раздавайся»...

и с этим, с этим ей предлагается оставаться, отказавшись* от древней веры? Мертвый человек, захотевший вынуть душу из своего народа и надписывающий:

«Жизнь и смерть положил ныне перед лицом твоим, благословение и проклятие. Избери же жизнь, да живешь ты и семя твое».

О, конечно, «смерть положил», и проклиной, проклиной народ свой, но и отходи же в сторону с путей его.

Ни в один из великих отрицательных моментов истории Россия не отрицалась своего я, души своей; но только сбрасывала одеяние, становившееся ветхим, неудобным более, не отвечающим своей цели, — иногда, как это было при Петре I, не отвечавшим тысяче мелких дел, которые, однако, нужно было совершить, чтобы не погибнуть от сил, чисто стихийных и грубых**. Но вот, не различая, что тело и болит и что платье и рвется, ей предлагается теперь отречься от этой души. Человек, которого вся сущность состоит в отсутствии сердцевины, корня, и в своей родине не отличил этой сердцевины от наружной кожуры, и как, в самом деле, им задуманный «подвиг» отвечает этим указанным особенностям его индивидуального бытия. Без координирующего центра движений, слов в себе, он не увидел его и в истории; лишь палка, бросаемая из рук*** в

* Из приведенных выше выдержек, а также и из отсутствия каких-либо упреков католицизму, при обилии упреков православию, можно видеть, что г. Соловьев вовсе не соединения Церквей ищет, на основании очищения той и другой стороны от ложного в себе, или недостаточного; но — подчинения России Риму, с простым отречением ее от православия (см. аналогии с делом Рюрика, Владимира Св<ятого>, Петра Великого, причем, в этих аналогиях, православие уподобляется хаосу, язычеству, невежеству, которое прямо уничтожалось, а не примирялось с противоположным).

** Т. е. по отношению к России; мы разумеем внешнее завоевание, которому, не усвоив некоторых технических подробностей (армия, флот), Россия могла бы подвергнуться с Запада.

*** В сущности, даже с мыслью своюю о соединении Церквей через отречение от православия, г. Вл. Соловьев является лишь неумелым, ограниченным толкователем идеи о «всемирной гармонии челове-

руки, он подумал, что и тысячелетний многомиллионный народ может стать бросаемою вещью: его забота найти, кто взял бы это на себя, и, ему кажется, он нашел лучшего, самого сильного. И представить только нашу деревню с латинским ксендзом; наших баб, беременных, с грудными младенцами, которые уже не внесут в церковь этих младенцев, потому что там их незачем вносить; да и не пойдут они в церковь, где им не прочтут Евангелия, где они не поймут и не повторят в душе своей умилительных песнопений, не помолятся с дьяконом своим «миром» — «о благосостоянии святых Божиих церквей», «о граде сем и всяком граде», «о мире всего мира». И, уж если нужно произносить проклятия, проклята будет земля наша в тот день и час, когда она откажется от этой святыни, которую жила тысячелетие, просвящена была ею, согрета, утешена, и, надругавшись над гробами отцов, побежит за обманывающею и нищенскою рукою, которая, не имея у себя ничего, манит ее обещанием, что что-то будто может дать ей. Бесстыдная и лукавая красавица, все имеющая «кроме чести», конечно, она не соблазнит нашего пахаря, у которого, быть может, и ничего нет, да и не нужно ему, он спокоен, потому что с ним его совесть, она не растеряна в истории, не продана за золото *, не отдана ради чести блуда с сильными мира сего **, никого не соблазняла, но и ни о ком не соблазнилась.

IX

Есть представление о народе нашем как исключительно мягким, «терпимом», неспособном и, в видах ему навязанной репутации, уже как будто и бесправном к самозащите... Так по-

чества через посредство русского народа», которую высказал по-
койный Достоевский на пушкинском празднике. Но ведь Достоевский разумел именно православие в русском народе, через которое и о котором спасутся все народы (и мы так ожидаем), а не отречение от этого самого православия, и массовое, физическое соединение с чуждою идеей, верой, или кругом идей. Г-н Соловьев понял... даже не мысль, а скорее только предчувствие Достоевского, как казуист римского права понял бы поэзию Пушкина: он ее извратил, высказал ей обратное по смыслу, повторяя ее букву.

* «Ватикан — это рынок, на котором все можно купить», определяли в Германии XV—XVI вв.

** Союз с растленными европейскими дворами в XVI—XVIII вв. против народов, их свободы, просвещения, благосостояния.

нимает его, этого требует от него и г-н Вл. Соловьев, и иные, с ним единомышленные. Им бы эта «терпимость» нужна, по крайней мере, на время. Они не заметили в нем иных, суровых и строгих черт; и, между тем, именно они в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день, и они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда и, если возможно, в неслыханных формах. Им кажется, «возможно»... Еще день не кончился, *их день... последний день*, и вот что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг приготовляются другие, главные. Еще все молчит; неситесь в веселии своем буйном по улицам, доерайте последний блин, и, если нужно, засыпайте. Но народ, — ударит протяжный колокол, и он необозримыми толпами потягнется к храму, где все другое, и он сам в нем другой... Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец, сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за что цепляются только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще желудков, неутоленных позывов.

X

И неужели, хоть робко сказать несколько слов о могущем наступить завтрашнем дне — значит преступить что-то, сделать нестерпимое?.. Почему думает г-н Вл. Соловьев, что *все* жаждут с ним еще вакханалии и вакханалии. Для многих — ее довольно; довольно для меня и, как всякий, я хочу сказать то, что хочу... Голос мой слаб, и время для него еще не наступило; и не делаю я то, что будет сделано, что может быть сделано завтра. Но ведь и статья моя «Свобода и вера» не призыв, не удар в колокол, а только жест презрения невольного к тому, что и многим гадко... И вот, я повторяю его, указываю еще на «попшатывающегося»; что же, вступить ли мне с ним в брань? к чему? Это так в его вкусах, и вовсе — не в моих. Достаточно понять, определить, самое большее — выговорить в слух определенное. Что может он мне сделать, его брань? Там, куда я иду, он никогда не будет выслушан; там, куда он идет, я не хочу быть выслушанным.

Спор наш кончен, да, в сущности, он и не завязывался.

